ВЯЧЕСЛАВ ДЕНИСОВ

ОДИНОЧЕСТВО

МОНОДРАМА

*Стены выкрашены нейтральной, спокойной краской. У стены напротив зрительного зала кровать, заправленная казенным одеялом. На заднем плане забранное решеткой окно. На явно казенной кровати сидит мужчина. Внешности он неопределенной, лет ему от тридцати до сорока. На нём больничная пижама, на ногах тапочки на босу ногу.*

*Оглядывается, вынимает из кармана телефон, кладёт его рядом. Некоторое время сидит молча. Потом берет телефон, убеждается, что он исправен, и снова кладет рядом.*

Никогда нет времени поговорить с собой… Вот так всегда. Просыпаешься утром, глаза открываешь, и думаешь: за окном минус тридцать, а аккумулятор-то так и не зарядил. Возил его весь вчерашний день в багажнике машины жены и рассуждал: вот, сейчас минут тридцать свободного времени образуется - и заеду, отдам… А то как же я утром свою машину заведу. И не нашлось тридцати минут. Разумеется, я знал, что не найдутся. Но когда аккумулятор в багажнике, как-то спокойнее. Знаю, что не заряжу, а вожу… И как-то спокойнее… Словно он там, в багажнике, заряжается. То есть, я его в багажнике как бы для зарядки вожу. А на самом деле для оправдания вечером, если не успею зарядить. Мне даже кажется, что если вдруг случайно появится возможность зарядить, я всё равно не успею. Сделаю всё возможное, чтобы не успеть. Есть что-то странное в этой перевозке аккумулятора под крышкой багажника, а не капота… Какое-то скрытое толкование всеобъемлющей занятости. То есть, если батарея у тебя не под капотом, а в багажнике, но ты всё равно едешь, значит, ты полезный себе и окружающим нужный человек. Мол, если бы не дела, я бы его обязательно зарядил. И вот утром просыпаешься и думаешь: заведется теперь машина или нет? Если не заведется, то придется брать аккумулятор, садиться в такси и ехать заряжать. Потому что жена на своей машине уже уехала.

И вот лежишь и думаешь, что на самом-то деле никаких неотложных дел вчера не было. И сегодня нет. И завтра не будет... И всюду, куда ты вчера успел с таким усердием, мог бы вообще не ездить. Потому что и жить без этого не в тягость, и никого не подведешь. И всех дел-то у тебя вчера было – один только аккумулятор. Этот маленький прямоугольный ящик с электролитом, о судьбе которого вспоминаешь, только когда он начинает причинять тебе неприятности. А так ты о нём триста шестьдесят дней в году вообще не думаешь.

*Смотрит в одну точку, вспоминая что-то.*

Как странно связаны предметы и люди в этом мире. Аккумулятор и сын. Держишь его за руку… он бредет рядом, спотыкается спросонья… маленький, беззащитный… и ты понимаешь, что день вчерашний напрасно прожит.

Даже нет, не так… Не напрасно, а во вред. Всё, в чем ты преуспел вчера, возя в багажнике тот маленький ящик, не найдя получаса, чтобы его зарядить, все победы твои и достижения – ничто. Да, ничто. Они не имеют никакой цены. И это не заслуги твои, а поражения. И ничего хорошего не сделал. И не сделаешь, если не изменишься. Потому что все эти победы и достижения ничто по сравнению с этим маленьким существом, что бредет сейчас по морозу рядом с тобой…

Держится за руку твою, дышит через шарф, спотыкается спросонья и идёт... Ему так хорошо было бы сейчас в теплой машине. А он вынужден идти. Но он не ропщет. И не винит тебя. Он слишком мал, чтобы сопоставлять зависимость событий. Просто идёт. Скользит на обледеневшем тротуаре, спотыкается спросонья… Прячет ручки в карманы – мёрзнут они – и идёт… Да разве их спрячешь.

Его ты ведешь. Значит, так надо. Он бы и в степь сейчас пошёл. Только потому, что его ведешь ты. И замерзал бы он там, плакал от боли, но все равно не роптал бы и не винил. Его же ты ведешь… Значит, так надо. И боль эта в руках от холода – так надо. И ветер жжет – это же ты ведешь… Разве ты повёл бы его в такой ветер, когда бы можно было доехать в машине?.. Если бы можно было обойтись без ветра и холода… разве отцу пришло в голову вести его пешком по морозу?..

Но он так не думает. Во-первых, он ещё не проснулся. И, потом, ничего не понимает, потому что прожил мало. Откуда ему знать, что такое аккумулятор и что от него одного зависит, холодно утром будет или нет… Он же не умеет делать такие выводы. Он маленький. И никогда он тебя, понимаешь, - ты понимаешь? – никогда он тебя не обвинит! Ни в том, что пальчики на ножках покалывает, что руки горят, что нос от шарфа чешется. Он никогда тебя в этом не обвинит. Потому что знает – ты лучший.

А ты идёшь, держишь его за руку, и думаешь: если бы вчера я не сделал все дела, я бы не заплатил вовремя за квартиру. Потом когда удастся? – у тебя же кроме квартплаты столько дел… Не посетил бы бассейн. Без бассейна тоже нельзя, врач рекомендовал… А письмо заказное отправить?.. И это, и это… То есть, уже понимаешь, что негодяй. Ещё вчера им стал, и сегодня без труда находишь этому оправдания. Точнее, объяснения. Вернее, пытаешься найти. Потому что оправдания найти можно, а объяснения – нет. Потому что нельзя найти то, чего нет… И чем дольше ты об этом думаешь, тем гаже становится. Вот здесь… И вот ты уже понимаешь, что вчера весь день возил в багажнике дохлый ящик, о котором даже не вспоминаешь триста шестьдесят дней в году.

И вот тебе уже трудно в этом признаться. В том, что ты негодяй. В тебе начинает шевелиться… как бы это получше объяснить… просыпается в тебе этакий рассудительный адвокатишко, который был многообещающим учеником в школе, талантливым студентом в юности, перспективным в начале карьеры и спившийся в конце. Он так много знает, так образован… но настолько подл и бесчестен, что обращаешься к нему ты в самых редких, исключительных случаях. Когда в свете разума своего другого Я видишь, что никто другой не поможет. Ни у кого больше не хватит совести чёрное перекрасить в светлое. И вот это ничтожество предлагает тебе такую замысловатую, как бы указывающую на вину, но не подтверждающую её примерами, формулу: за весь вчерашний день ты не приложил никаких усилий, чтобы этот маленький, родной человечек, о котором ты думаешь в день по триста шестьдесят раз, не мёрз.

Но напротив. Ничего похожего. Всё как раз наоборот. И ты кладешь руку на голову этого рассудительного мерзавца… вот так… и засовываешь внутрь себя поглубже. Ничего похожего на то, как он это тебе предложил! Правда куда проще: вчера ты сделал всё возможное и даже сверх того, чтобы сегодня этот маленький, родной человечек мёрз и страдал.

И соглашаешься с этим, и ощущаешь себя негодяем, когда помогаешь ему переодеваться у кабинки и греешь его руки… Не потому негодяем ощущаешь, что помогаешь замерзшему сыну снять вещи. А потому что он бы и сам мог это сделать, когда бы не замёрз. Лицо его раскраснелось от мороза, а твоё раскраснелось… нет, это не стыд. Это ощущение, что живешь напрасно. Что ничего хорошего в этой жизни не сделал, и не сделаешь, если не изменишься.

И он целует тебя… Обнимает холодными руками твою горячую шею. Просит помахать рукой, когда спустишься. Помахать…

Ты смотришь в этот ротик с редкими зубками… знаете, в этом возрасте у них зубки выпадают… прижимаешься лбом к его животику… слушаешь, как часто бьется от долгой ходьбы маленькое сердечко… и вспоминаешь об аккумуляторе. Нет, не потому, что зарядить его нужно… не потому, что машина без него не поедет, а сегодня столько дел… ты вспоминаешь о нём, чтобы поставить сейчас на пол рядом с этим человечком. Сравнить и установить разницу. Чтобы – навсегда. До конца дней твоих, сколько бы их не осталось. Вырезать на резиновом сердце истину, чтобы ставить им штампы на всех брошенных делах: сначала – он, а потом – всё остальное!..

И бежишь вниз по лестнице!.. Прижимаешься к стене, чтобы пропустить встречных, и бежишь, бежишь… словно от этого зависит будущее. Словно это выветрит из тебя бескрайнее чувство вины. Он просил помахать ему. Ты ясно видишь, осознаешь: это не сделает тебя лучше. Ни вчерашний, ни сегодняшний день это не осветлит ни на йоту, ни на один солнечный зайчик… Но бежишь. Ведь он ничего не понимает… ни о чём не догадывается… он просто знает, что ты – лучший.

*Пауза.*

Вечером, когда ты придёшь за ним, он выбежит, бросив игрушки. Оставит все дела и заботы. Он забудет о них в ту же минуту, когда ему сообщат, что пришёл ты. А у него-то дел побольше чем у тебя! И заботы поглубже! И нечего говорить, что каждое из его дел серьезнее и важнее всех твоих, вместе взятых. Но все дела он бросит… он тут же их бросит… и все заботы оставит. На потом… на завтра… или на послезавтра… потому что главное для него – ты. Потому что умеет выбирать. Потому что ему нет нужды ставить рядом с тобой игрушки, краски и друзей, которые являются его делами и заботами. Он всё уже давно установил. Раньше тебя. У него есть ты, и никакие дела не заставят его уступить им тебя.

Он терпеливо стоит у окна и ждёт. И вот увидел тебя. Подскакивает от радости и машет… И ты машешь ему. И накручиваешь в себе, накручиваешь… и шепчешь, улыбаясь ему, слова обещания. Что никогда это не повторится… что любишь его, что виновен, что теперь всё будет по-другому, лучше…

*Пауза.*

И идёшь домой как побитая собака. Разматывая шарф на морозе и расстегивая куртку. Это от глупости. Оттого что ты замерзнешь сейчас сильнее чем он, ничего не изменится. Всё уже случилось. И поправить можно, если только ты изменишься.
Господи, думаешь ты… Как же сожалеть будешь когда-нибудь о том, что впустую растрачивал минуты, которые мог бы до краев наполнить смыслом… Так всегда: кажется, что день бесконечно долог, но вот уже и сумерки растенили двор бесконечной серостью… И приходит полное глубокого разочарования откровение: ничего не сделано… Ничего. Недоласканный сын… забытое в черновиках письмо… недодуманная мысль… недопоцелуй… недовзгляд… – когда-нибудь всё это соберется воедино, сблизится, сроднится, обретет полную от тебя независимость и покинет навсегда. И станет пусто. Ты - и пустой город.

Вот ты заходишь в квартиру, закрываешь дверь и упираешься в неё ледяным лбом. И понимаешь, что сегодня только одно дело: аккумулятор. Ничего больше.
Сидишь, смотришь в окно, наблюдаешь, как сумерки раскрашивают стены домов в сотни оттенков синего… а внизу, у подъезда, стоит, тепло дыша, машина… И никакого чувства вины перед оставленными на потом делами.

И вот он уже вырос. Настолько, что приходится класть рядом телефон. Он должен скоро позвонить мне. И он обязательно позвонит. Через час или полтора. Как только всё случится… А это обязательно случится…

Задуманное заранее в пяти случаях из десяти происходит обязательно. Аккумулятор не в пример, его заряжать никто не собирался… Мне сейчас одного только хочется: чтобы запланированное вместе с сыном исполнялось в десяти случаях из десяти. Если так, то минут через двадцать-тридцать этот телефон обязательно зазвонит… А остальное – пусть уж у меня никогда ничего не сбывается… Пусть рушатся все планы. Лишь бы он позвонил. Неважно, что расскажет, главное, чтобы оставил на потом все дела – на завтра, на послезавтра…

*Раздается телефонный звонок. Он хватает трубку.*

Да?! Ах, Владимира Андреевича… Вы не могли бы позвонить попозже? Когда? Ну, завтра?.. Нет, с ним всё в порядке. Просто он сейчас не может подойти к трубке… Всего хорошего…

*Кладет телефон на место.*

Хотя лгу я… Что он расскажет – это очень важно. Для меня. Для него… Для нас. Это вообще важно. Как наступление завтрашнего дня. Вы можете себе представить, что проснетесь по привычке в семь, а утра – нет? То есть, часы идут, земля крутится, а утро – оно не наступило? Вот вы сидите на кровати, ждете. Полчаса, час, два… Умываться – ни ногой. Кто ж ночью умывается. Нужно утро для умывания. В общем, уже чувствуете, что обедать пора, а за окном как было темно, так и есть. Встаете, включаете телевизор, а там – рябь. Радио молчит. Все окна соседних домов до темноты слепы. Телефон не работает. То есть, электричество по-прежнему есть, свет зажечь можно, а телефон и радио – молчат. И что самое интересное – людей на улице нет. То есть, вы реально существуете, и все вокруг то же самое, кроме одного: никого – нет. И все что вы могли бы узнать о тех, кто исчез - отключено. Лифт не работает. Спускаетесь пешком, идете в супермаркет. И представьте – всё на полках. Только ни людей, ни продавцов. И всё свежее… Берете там… ну, например, сыр… пакет молока, вырезки – и домой. Приготовили, съели. И тишина вокруг такая, словно уши отрезаны.

Как же так? – думаете вы… так же не бывает… Идёте в тот же супермаркет, вынимаете из стеклянного шкафа бутылку рома, выпиваете… в кассовой зоне. А потом бутылкой по витрине – на!.. И вы не поверите – никто не едет и протокол не составляет. А некому.

И вы выходите немного поддатый и ничего не понимаете… нет, ну, чего немного… хорошо так поддатый… но всё равно ничего не понимаете. Ни души вокруг. Объяснить некому. И усаживаетесь так бочком, чтобы ничего не взорвалось и не вспыхнуло. На скамеечку остановки перед своим домом. И начинаете пить вторую бутылку. Вы же не с одной из супермаркета вышли…

И вот когда она наполовину пустеет, становится вдруг ясно, что жизнь отныне лишена ограничений. То есть: хочешь - бей витрины, хочешь – пей ром. Не хочешь ром – коньяку старого хоть захлебнись. И питайся вволю. Тем, чем раньше себя обделял. Супермаркетов в городе – тьма тьмущая. Один объешь – к другому иди…

И когда становится ясно одно, тут же проясняется и другое. Где-то через пару дней.

Второго похожего на вас нет. Есть только пустой город и вы. И вся забота ваша теперь сию минуту и до конца дней – это наугад просыпаться в полной темноте. Идти в супермаркет, брать что-то с полки, есть и возвращаться.

Вот в тишине и свете квартиры вы стоите у окна и смотрите куда-то поверх чёрных крыш чёрного города. Пытаетесь угадать горизонт. И чувствуете вот здесь… и с каждой новой темнотой все острее и острее… что вот здесь… именно здесь… это навсегда… И уже не будет лучше. Ещё не сошли с ума. Сердце ещё не разорвалось от отчаяния… А уже понимаете – всё.

Только почувствуете, как тяжелеют веки, выключите свет и ляжете спать. А когда веки разлипнутся, все будет по-прежнему: умывание, супермаркет и взгляд в окно. В темноту, у которой нет больше края… И с каждой новой темнотой – всё острее и острее… что это навсегда…

*Раздается телефонный звонок. Он хватает трубку.*

Да?! Нет, это не Владимир… А вы куда звоните? А, Владимиру Андреевичу… если вы завтра перезвоните, вас это не стеснит?.. Нет, всё в порядке. У него всё хорошо. Договорились… Договорились. И вам спасибо что позвонили…

*Кладет телефон рядом.*

 Если телефон зазвонит, а он обязательно зазвонит… и он скажет: «Папа, я остался с мамой», то всё так и будет. Всё как я только что рассказал… С той лишь разницей, что платить в супермаркете меня всё-таки заставят.

Знаете, как-то раз с приятелем моим, встретившись случайно и совсем некстати… Вам же известно, как это случается... Идёшь по тротуару, или переходишь дорогу на красный свет… или в метро едешь. Или на светофоре на тот же красный останавливаешься. И вот - он. Человек, увидеть которого не хотел бы до конца дней своих. И радуешься этой встрече беспредельно, словно все это время был занят тем, что искал именно этого человека. И ничем больше не занимался. Потому что без этого человека жизнь дальнейшая бессмысленна и пуста. И ты как бы уже почти утратил надежду на встречу, и всё будущее твое размыто из-за невозможности встречи с этим человеком… И вот она, долгожданная. Два человека, живущие на одной улице уже тридцать лет, благодаря счастливой случайности наконец-то встретились. И по опаленному счастьем лицу его видно, что и он, разыскивая тебя, не один факел спалил.

Сели в летнем кафе. Ну, вы понимаете. Нужно было побыстрее найти причину отбиться друг от друга. Поотбивались с полчаса… Но потом, как водится, обнаружились в нас качества лучшие. И стали говорить мы о том, о чём говорят лишь подогретые мужчины.

«Самая безнравственная вещь на свете, - говорил он мне, – это дисконтная карта. Когда ты с ней приходишь в следующий раз, тебя встречают как вора. Но когда тебе вручают её, ты почему-то рад. При этом обе стороны прекрасно осведомлены, что никакого дисконта нет, всё включено. Но всё равно встречают как вора. А ты удовлетворен тем, что смог залезть в чужой карман, хотя понимаешь, что не вынул из него ни копейки. В этом заключается абсолютно бессмысленный процесс отчуждения людей. И особенная, самая разрушительная суть его проявляется в непонимании этого».

Я тогда поразился этой новой для меня форме мысли о вещах обыденных. Когда встречаешься со знакомыми редко, завидуешь, как далеко они уходят вперед. Ты вот ещё здесь. Только-только собираешься тронуться от перрона в своем развитии. А они уже далеко впереди. И приходится глотать дым труб их паровозов.

И ещё он сказал, что разошелся. Как много грязи на него было вылито. Сколько он претерпел, и как легко ему дышится теперь. И как он обрел себя, нового…

Знаете, он говорил, а я вспоминал Настеньку. Настенька – это дочь его. Он часто гулял с ней по улице, а потом стал гулять без неё. Она - такой голубоглазый курносый мышонок… Я сидел, смотрел на приятеля, слушал… И ничего не слышал. Вот точно так же в парикмахерской голову тебе моют, а вода в уши не попадает. Самое реальное из всех ирреальных явлений в мире… Он говорил, а я видел, как Настенька, девочка с голубыми, ещё не глубокими, но светящимися как перламутровые пуговички глазами подошла к окну и положила подбородок на кулачки… Где-то там, вон там… где-то за углом города, живёт она... Она приходит к папе два раза в неделю. В пятницу и воскресенье. Так он положил. Она приходит на два часа. Плачет, когда приходит, и плачет, когда уходит. И каждый раз спрашивает, когда он вернется. А сегодня она к нему не придет. Потому что среда. Она вчера по телефону просила дать ей ещё хотя бы день. Но папа сказал, что он и так ей сделал скидку… Впрочем, сказал он, она может приходить каждый день целую неделю, если три недели потом она вообще не будет показываться в его новом доме… Её папа – тот самый мой приятель... Мы выпили по последней, он что-то говорил, жал мне руку… Он был счастлив в своей новой жизни. А я вдруг представил, как в этот момент его беспредельной счастливой свободы от прошлого, положив подбородок на кулачки, смотрит голубыми глазами за угол дома девочка…

Я тоже смотрю в окно… Бесконечность за ним. И пройдет ещё сто лет… ещё тысяча лет… и там, за окном, всё будет по-прежнему. Как и раньше, никто не будет подозревать о твоем существовании. Бывало так не раз: или на дереве повиснешь… а то и заглохнет машина посреди завьюженной ночной дороги… застигнет дождь в лесу… И ты думаешь… нет, ты знаешь, ты уверен! - что где-то далеко, не так далеко, чтобы сорок лет ходить, а совсем рядом далеко – где-то здесь, неподалеку далеко, всё уютно и хорошо по-домашнему. Трещит камин, тепло в доме, машина стоит в гараже. И лестницы у каждого дерева… А у тебя всё наоборот… И так бы ты хотел, чтобы и у тебя – и лестница, и камин… Прямо сейчас… Вот прямо сейчас… Но это никого не интересует. Радуйся, что есть хотя бы этот дождь, этот ледяной ветер и этот сук, на котором висишь… Нужно просто потерпеть…

А если терпеть нет смысла? Если лучше не станет уже никогда?.. И вот эта расстилающаяся и за горизонт бесконечность всего лишь - бессмысленный путь в никуда?..

*Пауза.*

Знаете, мне известен взгляд, каким смотрят на такую дорогу… Таким Настенька смотрит в окно. И ещё одна женщина.

Каждый вечер… Вечером каждого дня… Зимой или летом, да будь то хотя бы весна или осень… В окне седьмого этажа дома напротив появляется женщина и, опершись локтями о подоконник, смотрит вниз. Она подходит к окну ровно в половине десятого и стоит так до десяти.

Женщине не больше тридцати лет.

В двадцать два часа она выпрямляется и уходит в комнату, выключив на кухне свет.

Дом стоит так близко, что я уже давно привык к чертам её лица. Помаргивая уставшими от напряжения глазами, я рассматриваю её в упор. Не знаю, зачем мне её боль… У меня ещё есть шанс, а у неё уже ни одного… Я замерзаю на дороге вне человечества, но ещё жив. Она же смотрит на дорогу, ведущую в никуда…

Цвет её глаз на расстоянии пятидесяти шагов не разобрать. Живу я на десятом, а она постоянно смотрит вниз. Но мне известно, что у неё длинные ресницы и всегда аккуратно и ярко накрашены губы. Даже дома она выглядит так, как будто уже вышла из квартиры, но зачем-то вернулась. Чуть правее, меж нашими домами, футбольная площадка. Играют на ней и стар и млад, от семи до сорока. Я и сам, бывает, выхожу, чтобы погонять мяч. Ещё год назад я играл там с сыном… каждый вечер… вечером каждого дня… Так вот в десять часов вечера на площадке выключают свет. И мамы выглядывают в окна, чтобы сыновей позвать.

Так происходит каждый день, что бы ни случилось. Зимой или летом. Да будь то хотя бы весна или осень…

Девятилетнего Толика, сына этой женщины, три месяца назад сбила машина.

Каждый вечер… Вечером каждого дня… В окне седьмого этажа дома напротив появляется она и, опершись локтями на подоконник, смотрит вниз. Она подходит к окну ровно в половине десятого и стоит, прижавшись лбом к стеклу, до десяти.

И вижу это белое пятно под черной как смоль чёлкой, и знаю, что она всю себя отдала бы - по куску пусть рвут, с живой… только бы ей всего лишь раз позволено было рвануть на себя створку, закричать: «Толик!», - и услышать в ответ: «Мам, ну, ещё пять минут?».

Всего раз. Просто попробовать. И тогда бы её от него было уже не оторвать.

Смерть – это всегда оглушительно пусто. Однажды я стал свидетелем, как умирало дерево. Я возвращался домой через лес с реки, и усталость моя детская, ещё невесомая, приятная, рожденная после изнурительного купания усталость вела меня по тропе домой. Было так тихо, что мое присутствие в этом лесу казалось мне самым важным в его жизни… И вдруг я услышал музыку. Поначалу я подумал, что где-то включен радиоприемник. Но вскоре стало ясно, что придуманной людьми мелодии здесь не место. Это была какая-то странная, проникновенная музыка, порой кажущаяся бессвязной, а потом вдруг единым звуком скрепляющая все разрывы и превращаясь в единую. Музыка словно двигалась по спирали снизу вверх, и я остановился, пытаясь понять, что является причиной этой песни без слов. И вдруг я увидел в двадцати шагах от себя дерево. Не знаю, почему из сотен стоявших рядом деревьев мой взор наткнулся именно на него. Вероятно, мой взгляд шел навстречу музыке. Завороженный и совершенно ошеломленный, я стоял и смотрел на сухую осину со скудной и тоскливой, как у старика волосы, кроной. Ни единого листочка не было в ней, лишь причудливо изогнутые, то ли от старости, то ли от недостатка влаги, ветви. Дерево пело. Оно начинало испускать свои, кажущиеся мне, волшебными, звуки, от корней, и пускало их вверх, обвивало дерево, словно укутывая в саван. Я не знаю, сколько это продолжалось. Время словно остановилось. Или, напротив, стремительно унесло меня туда, где я никогда не был. И, по всей вероятности, никогда уже не побываю. Унесло… и вернуло обратно.

И вдруг музыка оборвалась. Стало совсем тихо.

Так тихо, что у меня заложило уши.

Ещё мгновение – и послышался треск. Словно великан наступил на поваленное дерево. Но не было ни великана, ни дерева, которое сломилось под подошвой его старого сапога.

Во всем лесу был только я и это дерево. Треск стрелой промчался снизу вверх, и я резко поднял голову. Мне показалось, что вверху что-то шевельнулось. Так и было. Тряхнув кроной, как старик головой, едва заметно, так слабо, что я едва успел заметить как замирает движение последней ветки, дерево стало падать. Будто раздумывая, в какую сторону ему, ровному как гигантский карандаш, упасть, оно стало заваливаться вдаль. Если бы оно рухнуло на меня, то не сделал бы я и шага в сторону. Настолько очарована и взволнована была душонка моя. Я подумал ещё в тот момент: это благодарность за выслушанную мною последнюю песню.

Тревожа кроны и ломая сучья стоявших рядом деревьев, осина упала, подбросила вверх отломившейся у самых корней ствол и бессильно уронила его на землю. И на неё, допевшую последний куплет и замолчавшую навеки, сыпалась листва. Погребение длилось около минуты. Каждое из стоявших рядом деревьев срывало с себя листву и засыпало последнее пристанище ушедшей от них осины. Когда шелест стих, я закрыл глаза и поднял голову. И вдруг услышал то, что совсем недавно было мне недоступно: звуки набегающих на берег волн, шелест листвы леса и шепот ветра. Почему я был лишен возможности слышать это мгновением раньше? Природа замолкла на некоторое время, чтобы дерево ушло в покое, – вот почему, - подумал я. Позволила сказать ему последнее прости в тишине и испустить вздох в уверенности, что слова эти кем-то услышаны…

Я пришел домой, и мне захотелось рассказать об этом маме моей. И вдруг понял, что не смогу подобрать для этого слов. Мною всё осмыслено, понято, а я не могу об этом рассказать. Всё свелось к одной, совершенно бессмысленной фразе: упало дерево. Я видел всё, я чувствовал, я слышал, а рассказать об этом - нет сил. И тогда я решил вообще ничего не рассказывать. Мне показалось, что эти звуки там, в лесу, были дарены мне одному. Кем-то мне было доверено стать свидетелем смерти дерева, но им же я был лишен возможности об этом рассказывать.

И мной овладел непонятный страх. До этого момента я никогда не избирался хранителем чужих секретов, поскольку секретов в нашей семье друг от друга не было. Во всяком случае, я так думал… Этот страх как гусеница ползал в груди моей и отвлекал от меня, прежнего. Чтобы избавиться от этого неприятного впечатления, я на следующий день отправился к тому месту, где закончило свою жизнь дерево. Не видя меня, или видя, но не испытывая тревоги по этому поводу, на стволе осины сидел дятел и в исступлении долбил иссохшую кору. Вынув что-то из пробоины, он перевернул в клюве и заглотил. И гусеница покинула меня. Как на моих глазах покинуло лес старое дерево.

*Пауза.*

Я на всё согласен… Лишь бы мне позволено было хоть раз его увидеть… Малыша, которого рядом больше нет. И я тогда бы его уже не отпустил, наверное… Пусть бы делали что хотели…

*Пауза. Раздается телефонный звонок. Он хватает трубку.*

Сынок?! Что?.. Нет, я не главврач… Нет, не Владимир Андреевич… Ничего страшного…

*Кладет телефон на одеяло. Берет, смотрит, убеждается, что работает, кладет.*

Она знает, что у меня аэрофобия… *(Говорит громче.)* Она знает, что у меня аэрофобия! Последний раз я летел на самолете двенадцать лет назад, ещё до рождения сына. Мы с ней отправились в Сочи. Она говорила мне: «Ты просто себя убеждаешь в этом. А нужно просто отвлечься. Я буду говорить с тобой весь полет. Хорошо? Ну не трястись же нам на поезде столько времени?». Я тогда сказал «хорошо», и она уснула сразу после взлета…

Знаете, чем занят страдающий аэрофобией человек в полете? От взлёта до посадки он держит над головой штангу со своим весом и боится, что она выскользнет из потных ладоней. Он её держит, боясь пошевелиться. Чтобы, не дай бог, не покачнуть самолет. Несколько раз стюардесса прокатит мимо него столик со спиртным. Это, поймите, как если бы ты в кому впал, а мимо твоей палаты ходил врач со шприцем, полным адреналина. Ты попросить не можешь, а врач не знает, что тебе вот-вот крышка… Так и здесь. Стюардесса не предлагает, а попросить страшно. Так как штанга может шевельнуться… А вы уже знаете, как штанга может на самолет подействовать… Сама же стюардесса девушка недогадливая и потенциального приобретателя скотча в штангистах не видит. Поэтому ей и в голову не придет свинтить крышечки с пары бутылочек виски. А так хочется. Чтобы свинтила и влила. Два раза по пятьдесят в рот несчастному…

Однако её понять тоже можно. Вот представьте себе: сидит в салоне человек, мокрый от напряжения, штангу над головой зафиксировал, то есть, занят своим делом… никого не трогает … и вдруг к нему сотрудница «Аэрофлота» подскакивает и начинает заливать в рот виски. Странно, правда? А кому хочется странно выглядеть?

И вот я сидел и держал вес. А ещё анализировал все звуки. И внимательно следил за перемещением по салону экипажа. Я так решил: как только увижу пилота, прячущего взгляд и следующего в хвост самолета, так сразу штангу и опущу на голову пассажиров перед собой. Там, на земле, уже непонятно будет, отчего с ними все случилось… А мне все легче перед падением. Опять же, если штангу потом и найдут, то спрашивать с меня как-то глупо будет… Как с человека спрашивать, если он то тут лежит, то там… У кого именно, собственно, спросить?..

В общем, полет я заканчивал с кислородной маской на лице и иглой в вене. А из Сочи мы возвращались уже поездом и я ощущал себя негодяем. Мне же известно, что она не любит поезда. Для неё эта мука. От беспрестанного перестука колес у неё начинает развиваться бессонница. А я лежал, смотрел в окно и думал, что если вот упаду с верхней полки, то ничего страшного, по существу, не случится. Даже её не разбужу. Как можно разбудить человека, который от бессонницы страдает?

*Пауза.*

Она знает, что у меня аэрофобия… Поэтому о дате судебного заседания сообщила за пять дней до его начала. За пять дней! – она смеется надо мной. Сто раз достаточно, чтобы прибыть самолетом. Но не хватает, чтобы успеть поездом… Я так думаю, что суд-то повестки выписал за месяц, не позже. Но она наверняка убедила, что повестку мне высылать не нужно, она лично известит. Так быстрее. Это же, сказала она, наверное, в наших интересах… И то правда, решила, наверное, судья. Сколько можно ребенка мучить. И теперь я поеду поездом, точно зная, что не успею. А самолетом – не могу. Ну, не то чтобы не могу… Скорее, это не пойдет на пользу делу. Представляю, как лежу после перелета в тамошней психушке, а она меня навестить приезжает… С кем-нибудь, кто потом подтвердит, что я в психушке лежал, а не в травмотологии, скажем. Между двумя этими двумя отделениями, знаете, разница есть. Особенно перед процессом, на котором определяется местожительство ребенка.

А она обязательно меня навестит. В психушке. Последние годы она делает всё, чтобы жил я счастливо и безмятежно. Оберегала моё сердце, не говорила, что живёт с другим. Так иногда бывает. Жена постоянно дома, утром уходит на работу, вечером возвращается… А живёт с другим.

Она забоится обо мне. Поэтому давно собиралась сказать, что уходит. Но не сказала. Не смогла причинить боль. Поэтому однажды собрала вещи, забрала сына из школы и уехала на вокзал. Так я легче перенесу боль. В чем-то она, конечно, права. Лучше сразу человеку ноги отрезать, чем пилить по сантиметру в день.

Она знает, что у меня аэрофобия. И представляет, как выглядят ее течение и последствия. А вот судья вряд ли представляет. Хотя, нет, теперь знает. *(Вынимает из кармана листок.)* Я вот черновик телеграммы составил… «Извещение о дате и времени судебного заседания получил сегодня. Так как страдаю аэрофобией, выезжаю поездом. Прошу судебное заседание отложить на поздний срок»… Завтра же отправлю. Только вряд ли пригодится. *(Прячет листок в карман.)* Для суда «аэрофобия» – всё равно что «мизантропия». Мол, вылетаю воздушным шаром, потому что ненавижу людей… Видеть их, мол, не могу. Мол, прошу понять правильно, вы же человек…

Так что об аэрофобии она наслышана. Но вряд ли представляет что это такое. И поэтому, когда я не появлюсь на заседании, она удивится. Тут такой вопрос, а он не явился. Тот случай, когда она поставит себя на мое место. У неё ребенка отнимают, а она не пришла в суд. Нет, ну, ладно – электричка переехала, убили - это ладно. Тут понятно. Здесь она себя на мое место поставит. А попроси её встать на мое место, когда ей этого не хочется, она тут же ответит, что у каждого из нас свое место. Самое забавное, что, ведь, так оно и есть… не придерешься… И вот я не появляюсь на заседании, и она думает: странно, как же так?.. И тут уж сомнений в правильном решении быть не может… Она же читала иск… Психически неустойчив… Вспыльчив… беспричинно… Справки там всякие… Но непременно чтобы – беспричинно. Как будто вспыльчивость по какой-то причине является не пороком, а добродетелью. Если беспричинно.

А тут вот ещё и не приехал. Хотя за пять дней на самолете можно облететь вокруг Земли десять раз. «Ах, у вас аэрофобия?.. – спросит она. Потом. Когда уже всё случится.. – Аэрофобия – это что-то вроде боязни касаться дверных ручек?».

Но всё уже случится. Уже ничего не поправить. И останется только окно, в которое можно смотреть бессмысленно… Это всё, что у меня останется. Всё, что я понесу с собой дальше. И уже неважно, что я никогда не поднимал руки на ребенка, не обижал его мать…

Знаете, я бы и не нервничал… беспричинно… если бы она не увела малыша. К тому, другому… Который нервничает только обоснованно.

Вспыльчив… Но это же не повод отнимать его у меня? Нельзя же взять и увезти сына, потому что отец его в больнице?.. Это же… несправедливо. Мне просто нездоровится. Но нельзя же – поэтому?..

И я совсем не пью. Мне нельзя. Я же таблетки принимаю, сиропы… Это нельзя смешивать, понимаете?..

Конечно, я могу оспорить решение. Но я не был на заседании… А он… Он меня так ждал… Я думаю, что ждал… Бросил все дела, его ничто не интересовало, ведь он знал, что приду… Но я не пришел.

Как не приходил весь последний год. Год - это триста шестьдесят пять дней. Столько раз я должен был прийти к нему, но не сделал этого. Такое он понять может. Ведь ему известно, что мама увезла его на край земли. Почему без меня?.. Ну, ему, наверное, объяснили. Убедили, что так лучше будет всем, в том числе и папе. Папе, возможно, лучше чем кому бы то ни было… Папа от этого будет счастлив... Как занимательно… Говоря одну и ту же глупость слово в слово, можно убедить и ребенка, и судью.

Интересно, исчезли у него ямочки на щеках или нет?.. Знаете, у него такие забавные ямочки, когда улыбается… Вот здесь… Я раньше специально его смешил, чтобы он улыбался. Улыбнется, и - ямочки на щечках… А она забрала его и уехала.

Сколько можно ребенка мучить… Это прозвучит как единый вздох тысяч мироносиц… И вот я представляю, как он стоит перед странным ему возвышением, на котором восседает не менее странная женщина. Один стоит, без меня. И шевелит плечиками, и нет моей руки, чтобы за неё взяться… И эта странная женщина задает ему вопрос, который…

 «С кем ты хочешь жить, мальчик: с мамой или с папой?».

С этой минуты он станет уродцем. Маленьким уродцем, который это уродство, на которое его сподобили несколько благороднейших людей, нести будет всю жизнь. Пройдут годы, и он забудет многое. Что-то приобретет, многое растеряет. Но ответ на этот вопрос будет помнить всю жизнь. Добрые люди, добра же и желая, потребовали от него здесь и сейчас - отказаться от отца или матери. От кого-то одного. А разве не так?

А ему не достает возраста, чтобы ответить: «Они оба мне нужны»… Он слишком мал. И до сих пор ещё ходит той заснеженной дорогой. Сейчас у него мороз по коже, лицо горит, но он и секунды не сомневается, что взрослые правы… Ему уже сказали, что эта судья - разумнейшая из тёть. А ещё она похожа на учительницу. Или воспитательницу… И как тогда, в детском саду, или как теперь, в школе, ему предложили решить задачу, где по замыслу взрослых из двух известных ответов правилен только один. И сейчас скажи, малыш: кого ты не хочешь больше видеть?..

Всё произойдет без меня. Я вернусь домой, и мне захочется рассказать о случившемся самому себе. И пойму, что не смогу подобрать для этого слов. Мною всё осмыслено, понято, а я не могу об этом рассказать. Всё сведется к одной, совершенно бессмысленной фразе: мне плохо.

И никакой дятел не выколотит из меня этой щемящей, сминающей моё существо боли. И всё что останется рядом, это мучительные воспоминания, что мог бы, мог бы я тогда зарядить проклятый аккумулятор… И сколько раз он морозил руки себе до этого, и сколько раз отморозит себе после, но вот этот раз, когда я мог не допустить этого, но допустил, будет держать меня у корыта терзаний всю жизнь…

И я ещё тысячи раз проснусь ночью – просто так проснусь, беспричинно, но уже никогда не войду в его тёмную комнату. Не опущусь на пол рядом с его кроватью, чтобы слушать его дыхание, сдерживая своё…

Я часто думаю что страшнее – сына у отца отнять, или – отца у сына… Ведь я тоже сыном был… И чем дольше думаю я над этим, тем яснее становится – нет разницы. Это как если тебя от тебя отнять…

*Пауза.*

Когда я был маленький… как сын сейчас… был у меня друг Колька. Несмотря на чересчур уж живую обстановку в его доме он часто и подолгу замыкался. Выходил из подъезда и замыкался.

Он жил в семье, терпящей бедствие. Их у его родителей – библиотекаря тёти Нади и электрика дяди Саши - было трое. Жили они в однокомнатной квартире и я, приходя в гости, не понимал, как они умещаются в ней для сна. Мне представлялось, как тётя Надя или дядя Саша, проснувшись ночью, чтобы попить, наступают в кромешной темноте на спящих Кольку, Витьку или Тоню… Я думал, что это, наверное, ужасно. Ты спишь, и вдруг на тебя кто-то наступает… И ко всем вынужденным бедам этой семьи постоянно навязывалась ещё одна, не вынужденная: дядя Саша любил выпить… Вы понимаете о чем я… Выпивал он только по праздникам и из дома не таскал - я бы никогда не придумал так сказать сам, когда бы ни дядя Саша, кричащий это по три-четыре раза в неделю в подъезде… в то время, когда тётя Надя хлестала его на пороге резиновым шлангом от стиральной машины… Меня это потрясало до ступора. Я никак не мог привыкнуть к этому. И тогда накрывался одеялом с головой. Чтобы не слышать этих остервенело-убежденных криков и утробного хрюканья резинового шланга, громыхавших по всему подъезду...

Но утром, когда я спускался к Кольке с ранцем за спиной, меня начинали преследовать подозрения, что меня оставила память. На моих глазах Колькин отец, худой и маленький дядя Саша целовал высокую, имеющую перед ним преимущество раза, наверное, в три, тётю Надю. А она улыбалась ему, называла его «Санечкой» и суетливо укладывала сверток с его обедом в его брезентовую сумку. И я всякий раз растерянно хлопал ресницами… смотрел вот так и хлопал: тюк-тюк… чтобы убедить себя: нет-нет, это мне не пригрезилось… в одиннадцать часов вечера – да-да, я не выдумываю… в одиннадцать вечера эти двое под крики собственных детей на пороге своей квартиры бились, не уступая ни пяди своего мнения, насмерть!

Потом дядя Саша гладил своих детей по головам. Гладил и меня. Строго предупреждал всех, чтобы без шалостей, после чего отрывал от календаря листок и тут же свертывал из него самокрутку. Этот процесс меня завораживал… Я переставал хлопать ресницами и, наоборот, замирал, чтобы лучше слышать треск листка и аромат табака… И мой рот наполнялся слюной восхищения, когда дядя Саша лизал краешек бумаги, чтобы свернуть сигарету. Колька, Серёга, Тоня и тётя Надя напоследок целовали друг друга, дядя Саша и тётя Надя в финале целовали меня, и все выходили, наконец, на улицу.

Этот ритуал продолжался изо дня в день, в нём царствовала атмосфера всеобщей любви и доверия. И если бы не лиловые, свежие, словно только что из печати синяки то под правым, то под левым дядисашиными глазами, я мог бы ручаться за то, что каждую ночь меня мучают видения. Иногда мне думалось, что тётя Надя чередует постановку этих памятных знаков на лице своего мужа, чтобы не причинить вред его здоровью. Эта мысль посещала меня всякий раз, когда я лежал в больнице и медсестра заходила в мою палату со шприцем в руке и словами: «Ну, в какую половинку мы ставим сегодня?».

Я представить не мог тогда, не могу и сейчас, что эту семью можно было разделить. Вот, взять Кольку и отделить жизнью от отца. Или, наоборот, Кольку оставить, а дядю Сашу отделить и увезти…

Мне кажется, они бы сразу все умерли.

*Пауза.*

Я так хочу вернуться назад лет на тридцать и поговорить с мальчиком, которого помню и которого мне так сейчас не хватает…

С выжженными солнцем волосами и созвездием рыжих гончих псов на носу, в застиранной рубашонке нараспашку сидел бы он на пригорке за поселком. Там, где река впадает в море, а у берега огромный баркас качается на привязи как прирученный кит. В те времена, когда баркас ещё не устал от ходьбы до северных морей и обратно. Когда мама была молода и красива, и отец неутомим и силен.

Присяду рядом, накину на плечи его, холодные от ветра, тёплый, с моих плеч, свитер…

Спрошу, как тот живёт. Просто так спрошу, не нуждаясь в ответе. Я знаю за верное, что мальчишка счастлив… Придвинусь и обниму осторожно.

Мне хорошо рядом с ним. А он не заметит меня и продолжит думать о своём. О том, как закончит все дела и уедет из этой скучной деревни покорять шумные города и страны. И никогда больше в неё уже не вернется. И лет через тридцать, став старым и богатым, будет слушать придуманные о себе легенды. Внимательно следить, насколько правдоподобно из уст в уста передают люди истории его состоявшейся жизни…

Милый мальчик, скажу я ему, пройдет тридцать лет и тебя неудержимо потянет на этот пригорок. Дрожа губами от предвкушения встречи, ты поднимешься и увидишь сидящего на ветру пацана.

Растревоженный этим свиданием, бескрайне удивленный тому, как похож он на сына твоего, ты сядешь подле и накинешь на его плечи, как накидывал на плечи сына, свитер…

Сидя напротив солнца и осторожно обняв колени, будешь смотреть, как волны лижут обглоданный льдами скелет баркаса…

Нельзя вернуть ни минуты оттуда – подумаешь ты. Ни жеста, ни вкуса первого леденца, ни запаха адониса в парке, ни первого прихода в этот парк – ничего не вернуть, ни за что не вернуть…

Я будешь вот так сидеть и улыбаться…

Солнце выберется из-за края, согреет простывший на траве свитер.

Но прежде чем закурить вынутую из кармана сигарету, ты по привычке поднимешься, чтобы убедиться в отсутствии взрослых…

Ведь только взрослые… только они способны разрушить все твои планы.

Я хочу его совета…

*Раздается телефонный звонок. Он поднимает трубку.*

Да?! Это опять вы… Нет, вы правильно позвонили… Это телефон Владимира Андреевича… Да, главврача… Почему не он берет трубку… Понимаете, я, как бы это вам сказать… я взял у него этот телефон. Без спросу… Нет, что вы… Я не вор. Я обязательно верну. Просто мне сын должен позвонить. Он позвонит, мы поговорим, и я положу трубку на место… Вы поймите меня правильно… Мне сын должен позвонить…

*Кладет телефон рядом.*

Сын должен позвонить, понимаете?..

*Пауза.*

Должен же у него быть телефон… Он уже взрослый…

*Занавес.*